

хотя не скучен, но мало или вовсе не имеет той новости, которая одна может иногда выкупить скудость содержания: он выткан на старинное бердо Дюкредюменилевской и Коттеновской фабрики. Злой опекун, подложное завещание, ночные явления, хутор в диком лесу, похищение — это узлы слишком тертые, основа давно избитая. Есть даже места, не совсем удовлетворяющие первым условиям романического правдоподобия... как могло случиться, что цыганский атаман Василий всегда попевал и являлся там, где настояла крайняя нужда? Впрочем, описание малорусского быта, составляющее раму повести, очень занимательно... Итак, вот почему, повторяем, «Монастырку» можно назвать приятным литературным явлением».

Два враждебные журнала одинаковым тоном говорят о «Монастырке» — явно, что в приговоре могли они сойтись только потому, что не было возможности не сойтись, только потому, что приговор был действительно беспристрастен и справедлив. Каким спокойным, рассудительным тоном говорят они о достоинствах разбираемого романа, какие существенные недостатки находят в нем они! Здесь нет речи об отдельных, удачных или неудачных, сценах и фразах, о мелких промахах, о «красоте» или, по нынешней фразеологии, «прелести» языка и т. д. Сравнительно критику «Телеграфа» или «Телескопа» с нынешними восторженными и вместе мелочными разборами, иногда бываешь готов видеть в ней какой-то идеал. «Монастырка» — порядочный роман в лафонтеновском или дюкредюменилевском роде, — вот холодное суждение «Телеграфа» и «Телескопа», остающееся справедливым и ныне; а между тем публика восхищалась «Монастыркою»: в каких же выражениях отозвались бы о ней современные критики, восхищающиеся и теми произведениями, которые не замечаются или осуждаются публикою? Мы сказали: критика, имевшая влияние на публику и на литературу, стояла выше посредственных произведений, была строже, нежели публика; теперь критика решительно ниже публики — какое же значение может она иметь с своими наивными замечаниями о мелочах и простодушными восторгами от всего, что только подписано скольнибудь известным именем? Нет, критика должна стать гораздо строже, серьезнее, если хочет быть достойною имени критики. Правда и то, что для строгости необходима разборчивость, и что, кто лишен разборчивости, тому уже лучше остаться неразборчиво восторженным, нежели стать неразборчиво суровым.

О земле, как элементе богатства. А. Львова. Москва. 1853.

Г. Львова чрезвычайно интересуется вопросом: «Что такое мешает успехам политической экономии?»¹ Никак не могли мы объяснить себе, зачем понадобилось рассматривать его г. Львову; но мы его должны рассмотреть, потому что ответом на него объяснится существенное содержание и направление исследования г. Львова.

Почему, в самом деле, политическая экономия далеко еще не достигла той высокой степени непреложности в своих основных положениях, на какой стоят естественные и, особенно, математические науки? Почему, например, между тем как астрономия уже не обращает и внимания на толки людей, утверждающих, что солнце вертится около земли, политическая экономия не только должна заниматься серьезным опровержением подобных же, решительно с ветру взятых, толков, но и не избавилась еще от опасности впасть в руки людей, доказывающих, например, что в промышленном мире все наилучшим образом устроивается само собою. Отчего политическая экономия до сих пор не освободилась от необходимости спорить против этих убийственных нелепостей?

Многие приписывают такое жалкое положение — молодости политической экономии: «еще не успела она развиться до светлой, благодетельной бесспорности истинных своих принципов потому, что всего еще только восемьдесят лет существует, как наука». Но мало этого объяснения. Отчего же она так медленно развивается? Ведь химия еще моложе политической экономии, сравнительная анатомия, возникшая почти на наших глазах, еще моложе; а между тем по степени полного, незыблемого, общепризнанного утверждения своих начал эти науки далеко оставили за собою не только политическую экономию, но и старуху по летам, дитя по неосновательности суждений — историю. Что-нибудь не так. Молодость не оправдание, даже не объяснение.

И действительно, есть много причин медленности развития политической экономии. Укажем на некоторые, могущие служить объяснением и для положения вопроса, которым занимается исследование г. Львова. Ответственность за умолчание об остальных устраним от себя ссылкой на известную французскую поговорку, которую представляем в следующем виде: «*Qui veut dire tout, ne dira rien*»².

Первая из этих причин медленности развития политической экономии — многосложность и неудоборазделимая перепутанность фактов, которые анализировать должна она. Факты, анализируемые астрономиею и другими близкими к совершенству науками, очень просты, мало запутанны, слишком удобоотделимы друг от друга во всей своей чистоте и полноте сравнительно с фактами нашей науки, которые зависят от множества причин, находятся под влиянием множества обстоятельств, перепутываются своими последствиями. Объяснимся примером. Один из важнейших вопросов политической экономии, который, по строгой научной необходимости, рассматривается и г. Львовым, есть вопрос: улучшается или ухудшается (в Западной Европе) положение рабочего класса³ при том ходе развития промышленных отношений, который господствует в Западной Европе? Вот как тесно связаны между собою вопросы политической экономии: говоря о

причинах, из которых возникает поземельная рента, или доход за отдачу земли в наем, понадобилось говорить о благосостоянии рабочего класса. В астрономии не так: решая свой вопрос, астроном не запутан в рассмотрение совершенно других вопросов; они для него «посторонние вопросы», и, говоря о времени и причинах годичного обращения земли, он не хочет и не *должен* обращать в то же время внимания на вопрос о лунных фазах или о колебании земной оси. В политической экономии, напротив, при исследовании отдельного вопроса есть только главный вопрос и второстепенные, но нет посторонних вопросов: они все связаны с главным. А конечно, скорее можно прийти до полного и точного решения, решая одну задачу, нежели решая в одно время пять, десять, двадцать задач. Это еще не все. Мало того, что все факты политической экономии перепутаны между собою: каждый из них в отдельности чрезвычайно многосложен. Продолжим пример. Мы хотим знать, возвышается или упадет благосостояние рабочего класса, или, чтобы *упростить* вопрос, одного только разряда рабочего класса — фабричных рабочих (*les ouvriers*) во Франции и Англии. Посмотрите, как многочисленны причины, от которых зависит это явление; плата (*le salaire*) им зависит:

1) от запроса на фабричные изделия; 2) от степени соперничества между фабриками, заставляющего понижать эту плату; 3) от соперничества между нанимающимися рабочими, зависящего также 4) от состояния других отраслей промышленной деятельности; 5) эта плата зависит от привычек народа (англичанин не согласится на плату, которая не даст возможности иметь мясную пищу и чай); 6) от трудности фабричной работы и т. д.; то, как пользуются рабочие этою платою, зависит 7) от степени прочности их положения и 8) от возможности вследствие того вести регулярные расходы, и 9) приобретать или сохранять привычку к регулярной жизни, и 10) развивать или поддерживать сознание нравственного своего достоинства и т. д.; благосостояние их в такой же степени зависит 11) от цен хлеба, квартир и т. д., 12) устройства, чистоты и т. д. их квартир; 13) и 14)... Но и этого списка, далеко не полного, уже достаточно, чтобы видеть, как трудно разрешить уравнение (говоря математическими терминами), в которое входят столько факторов. А это один из простейших вопросов и в *упрощенном* виде. Берем, напротив, основной вопрос астрономии: «по какому закону действует тяготение?» Чтобы решить его, надобно принять в соображение только *два* фактора; 1) расстояние и 2) массы тяготеющих одно к другому тел. Ясно, что определить этот закон точным образом гораздо проще, нежели решить вопрос, например, о благосостоянии рабочего класса. Первое условие быстрого хода науки к решению своих вопросов — простота ее фактов. Поэтому даже различные части одной науки стоят очень часто на далеко не равной степени развития. Так (в физике), оптика гораздо выше по законченности

решения своих немногосложных вопросов, нежели метеорология, рассматриваемые которою факты довольно многосложны; так, неорганическая химия, анализирующая тела менее сложного состава, нежели каков состав органических тел, обработана гораздо лучше органической химии.

Эта причина трудности точным образом решать вопросы политической экономии — причина, не зависящая от исследователя, холодная, бесстрастная. Но есть другие препятствия к успешному решению ее задач — препятствия, поставляемые любовью и пристрастием, благосклонностью и недоброжелательством.

Известно, что доктора никогда не лечат близких родных; самый искуснейший и самонадеяннейший врач, когда у него серьезно заболит жена или дитя, приглашает другого, по собственному его и своему убеждению; может быть, менее искусного. Почему это? Слишком сильное участие, принимаемое доктором в больном, мешает светлой пронизательности взгляда его на положение больного: достанет ли у него твердости духа во-время убедиться в опасности болезни, достанет ли хладнокровия, чтобы не увлечься неосновательными опасениями за последствия решительного лечения, решится ли он на приговор: *medicamenta non sanant, ferrum sanabit?* Нет, он будет стараться не замечать худых признаков, ослепляться хорошими, искать паллиативных средств, когда они ни к чему уже не годны. Всякий доктор — плохой врач для милых ему. Таково почти всегда положение политико-эконома, если он не бездушная писальная машина. Вопрос идет об участии людей: кто может не сочувствовать, не желать благоприятного ответа? А существенное условие для верного решения научных вопросов — бесстрастие и беспристрастие к тому, каков будет ответ. Исследователь истины должен искать только истины, а не того, чтобы истина была такова, а не инакова; он не должен содрогаться от мысли о том, что получится в ответ. Математику все равно, положительное или отрицательное количество получится в результате; ему всякий вывод хорош и мил, лишь бы только был истинен. Положение того, кто исследует исторические и, тем более, политико-экономические вопросы, совершенно не таково. Он не может не желать *благоприятного* ответа. Желание не может не иметь влияния на вывод. Куда хочется притти, туда тянет итти.

Если мы не имеем возможности, то не имеем и права не желать благого для человека. Пусть эта любовь замедляет путь к строгой истине; без нее мы и не пошли бы к истине: кто не любит человека, тот не будет и думать о человеке. Но есть другого рода привязанность, мелочная, жалкая в деле науки: это — привязанность к своим личным выгодам и к выгодам своих одноклассников, хотя бы они находились в противоположности с благом народа и государства. А этим пристрастием большая часть людей скованы в своих суждениях и исследованиях.

Вот три из главнейших препятствий быстрому развитию политической экономии. Есть и другие, не менее важные. Но — дальше в лес, больше дров, а мы уже и так слишком заговорились. Ни об одном из этих препятствий г. Львов и не упоминает, рассуждая о «шаткости политической экономии», а главною помехою кажется ему вот что: «отсутствие точного разграничения между наукою и искусством мешало успехам политической экономии»⁴. Видите ли, Дестю (Детю? Destutt) де-Траси сказал: «искусство есть собрание правил, наставлений, соблюдение которых необходимо для получения желаемого результата; наука же состоит в открытии истин посредством исследования какого-нибудь предмета»⁵, и политико-экономы не обращают надлежащего внимания на эти слова: оттого и вся беда! Но различие между наукою и искусством известно, по крайней мере, с тех пор, как известно различие между инструкциями (которые еще Карл Великий давал своему управляющему)⁶ и учеными трактатами; и если б экономисты не знали этого различия, то незнание было бы следствием, а не причиною шаткого состояния науки их: пока будут шатки решения основных вопросов науки, шатки будут и пределы ее; а когда уяснятся основные вопросы науки, то само собою уяснится и различие ее от всевозможных искусств, даже от искусства прикрашивать факты, даже от искусства, — двумя-тремя пустыми фразами о неприкосновенности индивидуальной свободы отделяваясь от серьезных прений о введении правительственными мерами порядка в убийственную для народа беспорядицу промышленности, — переливать из пустого в порожнее⁷, — искусств, которыми отличаются авторитеты г. Львова и во главе их мнимо-глубокомысленный Бастиа. Но напрасно г. Львов думает, что эти господа смешивают науку с искусством: от Жана-Батиста Сэ, резко сказавшего, что «наука политической экономии только описывает, а не хочет давать советов»⁸, насквозь прониклись этою основною мыслью люди, выучившие наизусть его творения, и с этого основного пункта начавшие свои труды подвигания науки назад. Знают и соблюдают они это различие, но не уяснили, а только загрязнили науки все эти Бастиа, Росси, Мишели Шевалье. Отчего же это так?

Оттого, что еще лучше, нежели различие между наукою и искусством, знают они науку о том, что вредно и что полезно — для них самих, и искусство говорить только о том и только то, что полезно для них самих и для их однокашников, искусство, состоящее, между прочим, в том, чтобы, для отвлечения науки от других вопросов, переисследовать уже давно решенное, по мере возможности сглаживать в решении то, от чего еще могут поперхнуться их однокашники, и, по мере способностей, доказывать, что фабричному рабочему жить лучше, нежели фабриканту. Прекрасный пример этой стороны искусства представляет учение о поземельной ренте, излагаемое с их слов г. Льво-

вым. Это учение, эти опровержения Рикардо — преинтересная вещь⁹.

Плата, которую землевладелец получает за отдачу в наем своей земли, называется поземельною рентою. Как велика бывает она? Она бывает сообразна тому, сколько дохода приносит отдаваемая в наем земля; доход зависит прежде всего от плодородия земли. Потому плодородием земли определяется величина платы за нее. Это было всегда всем известно.

Но Рикардо, не довольствуясь этим неопределенным ответом, захотел в точности определить, сколько же именно отдает арендатор за наем земли и от каких причин происходит, что за землю платят ренту. И, надобно отдать ему справедливость, он анализировал вопрос чрезвычайно глубокомысленно и верно. Вот сущность его «Теории ренты».

Малочисленный народ приходит в необитаемую землю и начинает возделывать ее. Каждый обрабатывает земли, сколько может и какую хочет (почти так теперь делается в западных штатах Северной Америки и совершенно так было лет за восемьдесят в юго-восточной России). Само собою разумеется, что обрабатываются только лучшие земли: кому будет охота пахать не самую лучшую землю, когда ее вволю для всякого? Положим, что этого сорта земля дает по десяти четвертей с десятины. Народонаселение размножается; хлеба, получаемого с этих плодороднейших земель, становится недостаточно для его продовольствия. Надобно приступить к разработке и тех земель, которые дают только по девяти четвертей с десятины. Представим себе, что я хочу заняться в это время земледелием. Я могу даром взять землю второго сорта, ее еще много не занятой; а земли первого сорта уже все заняты. Но, может быть, кто-нибудь из владеющих землями первого сорта не хочет заниматься земледелием: не даст ли он мне пользоваться своею землею? ведь, не обрабатываемая, все равно она ничего ему не принесет? Нет, он рассуждает иначе: «если ты будешь даром обрабатывать еще незанятую землю, ты получишь с десятины по девяти четвертей; а моя даст тебе по десяти четвертей: как же ты будешь получать четверть лишнюю? земля моя; я и буду получать выгоды от того, что она лучше других; и если хочешь обрабатывать ее, давай мне по четверти с десятины». И я соглашусь давать, потому что выгоды для меня те же. И вот начало платы за пользование землею, — начало ренты. А согласился ли б я на это условие, когда были еще незанятые земли первого сорта? Нет, я сказал бы землевладельцу: «да с чего же ты взял, что я тебе стану давать и по горсти с десятины? не даешь ты своей земли даром, я возьму даром еще незанятую». И теперь я сказал бы это владельцу земли второго сорта, потому что есть еще порожние земли этого сорта, которыми можно пользоваться даром; второй сорт еще не дает ренты. Но вот народонаселение до того размножилось, что обработаны все земли вто-

рого сорта (дающие девять четвертей) и надобно обратиться к землям третьего класса, дающим только восемь четвертей с десятины. Если тогда вы захотите взять на обработку землю второго сорта, владелец уже потребует от вас одной четверти с десятины, потому что даром вы не можете обрабатывать землю, дающей более осьми четвертей; а владелец земли первого сорта поэтому же самому потребует по две четверти с десятины. Итак, рента измеряется разницею между доходом от наихудших из обрабатываемых земель и доходом от земли, отдаваемой в оброк. Чем более худшие сорта земли обрабатываются, тем более повышается рента с лучших земель. Ясно, что возможность ее основана на том, что не все земли одного качества, что земель лучших сортов находится в стране только определенное, далеко не безграничное количество, и что все они обращены уже в частную собственность.

Но мы говорим о плате за наем натурою, хлебом; а с развитием промышленности все платежи начинают производиться деньгами, а не натурою. Посмотрим же, какую сумму денег составляет рента в разные периоды, нами определяемые по сортам возделываемой земли. Известно, что нельзя долго заниматься работою, которая не дает возможности жить: работник разорится и погибнет или оставит свое убыточное занятие. Итак, цена хлеба устанавливается такая, чтобы земледелец мог существовать; иначе он оставит земледелие. Предположим, что земледелец может обрабатывать пять десятин земли и что ему на годовые расходы нужно сто рублей серебром. Если по количеству народонаселения необходимо, чтобы обрабатывались земли не только четвертого сорта (дающего семь четвертей с десятины), но и пятого (дающего шесть), то и цена хлеба должна установиться такая, чтобы земледелец пятого разряда мог получить свои сто рублей за свой хлеб (с пяти десятин по шести четвертей, тридцать четвертей), иначе он покинет земледелие, земли пятого сорта перестанут обрабатываться, хлеба будет недостаточно для народонаселения, и он еще более возвысится в цене. Итак, цена хлеба устанавливается тою ценою, ниже которой не может без разорения взять человек, обрабатывающий самый низкий сорт из обрабатываемых земель. Посмотрим же, как велика будет денежная рента при постоянной разработке всех худших сортов земли.

Первый период. Обрабатываются только земли, дающие 10 четвертей с десятины. Хлеба получается земледельцем с пяти десятин (5×10) 50 четвертей. Цена хлеба (за 50 четвертей надобно получить 100 рублей) 2 рубля. Ренты нет.

Второй период. Обработка земли второго сорта (9 четвертей с десятины). Количество хлеба 45 четвертей. Цена ($100 : 45$) 2 рубля 22 копейки; рента за пять десятин первого сорта (по 1 четверти с десятины) $2 \text{ рубля } 22 \times 5 = 11 \text{ рублей } 10 \text{ коп.}$ Второй сорт не дает ренты.

Третий период. Обработка земли и третьего сорта (8 четвертей). Количество хлеба 40 четвертей. Цена (100 : 40) 2 рубля 50 копеек. Рента за пять десятин первого сорта (по 2 четверти) 25 рублей; второго сорта (по 1 четверти) 12 рублей 25 копеек.

Четвертый период. Обработка земли и четвертого сорта (7 четвертей). Количество хлеба 35 четвертей. Цена (100 : 35) 2 рубля 83 копейки. Рента за пять десятин земли:

Первого сорта (по 4 четверти) 42 рубля 45 копеек; второго сорта (по 2 четверти) 28 рублей 30 копеек; третьего сорта (по 1 четверти) 14 рублей 15 копеек.

Пятый период. Обработка земли и пятого сорта (6 четвертей). Количество хлеба 30 четвертей. Цена (100 : 30) 3 рубля 33 копейки. Рента за пять десятин земли:

Первого сорта (по 4 четверти) 66 рублей 66 копеек; второго сорта (по 3 четверти) 50 рублей; третьего сорта (по 2 четверти) 33 рубля 33 копейки; четвертого сорта (по 1 четверти) 16 рублей 66 копеек.

Итак, рента прогрессивно возвышается и от увеличения разницы между количеством хлеба, получаемого с земель разных сортов, и от возвышения цен хлеба. Чем более народонаселение, чем худшие земли обрабатываются (менее получает земледелец за свой труд), чем выше цены хлеба, чем более беднеет от этого народ, тем более станвится рента.

Все это справедливо, все это глубокомысленно и просто вместе.

Сказать против выводов Рикардо ничего нельзя; но — и вот доказательство, как многосложны вопросы политической экономии — но это вполне справедливое решение вопроса не есть его окончательное решение, потому что Рикардо говорит об одной специальной стороне вопроса и не переносит своих заключений из области умозрительных соображений в область действительных, современных отношений; в этом состоит справедливая сторона возражений Мальтуса против его теории. При определении цены хлеба Рикардо принимает в соображение только потребности земледельца и всегда предполагает существование земель еще незанятых, которыми можно пользоваться задаром; и потому ренту составляет у него только излишек ценностей, доставляемых обработыванием одних земель, над количеством ценностей, доставляемых обработкою других. Но цена хлеба, если не может спускаться ниже поставленной Рикардо границы, то может подниматься выше ее, когда народонаселение слишком велико сравнительно с количеством земли, могущей быть обработанною, и хлеба, ею доставляемого: тогда хлеб, вследствие того, что его больше требуется покупателями, нежели предлагается продавцами, дорожает; и в пятом, например, периоде (предполагая, что земли пятого сорта худшие из удобных для земледелия) цена хлеба, вместо выведенной по Рикардо для случаев, когда хлеба достаточно, 3 руб. 33 коп., может возвыситься до 3 руб. 50 коп., 4 руб., 5 руб. Так и

бывает постоянно в большей части Западной Европы. Тогда земледелец получает с пяти обрабатываемых им десятин:

Земля	1 сорта (10 четв.)	2 сорта (9 четв.)	3 сорта (8 четв.)	4 сорта (7 четв.)	5 сорта (6 четв.)
Количество хлеба . . .	50	45	40	35	30
На сумму (полагая 4 р. четв.)	200	180	160	140	120 р.
Рента, как разлчие между доходами . . .	80	60	40	20	—

Но земледельцу оставалось бы в этом случае 120 руб.; а для возможности существовать необходимо только 100 руб. Оставит ли землевладелец земледельцу лишние 20 рублей? Нет, он скажет ему: «При избытке народонаселения, когда всякий хлопочет только о насущном хлебе, я всегда найду арендаторов, которые удовольствуются 100 рублями дохода и дадут мне 20 рублей более, нежели дашь ты; потому или прибавь мне 20 рублей ренты и довольствуйся 100 рублями, или я найду на этих условиях других арендаторов». Итак, вывод Рикардо надобно дополнить таким образом: разница между низшею и вышею рентою действительно определяется разницею доходов от земли; но низшая рента определяется излишком дохода с наихудших земель перед суммою, необходимою для покрытия издержек земледельца, и земли самого низшего сорта из удобных к возделыванию приносят ренту (Рикардо опустил это из виду) там, где цена хлеба определяется не издержками производства, а стоит (по излишку населения или другим причинам) выше их; и суммою этой ренты увеличивается и рента со всех других земель. Таково положение Англии, Франции и проч.

Есть еще неполнота в теории Рикардо; из общего закона: «рента определяется количеством и ценою получаемого хлеба», вывел он заключение, что рента не имеет уже сама влияния на цену хлеба, что поэтому даже если бы рента была понижена или уничтожена, то выиграл бы только класс фермеров, а не весь народ; потому что цена хлеба не понизилась бы. Ошибочность этого мнения замечена еще Сисмонди. Было бы слишком долго разъяснять все отношения, которые понизили бы цену с понижением ренты, и потому заметим только одно то, что если б у фермера вместо 100 рублей оставалось 120, то 20 рублей, которые остаются у него за расходами, он употребил бы на улучшение земли, своих орудий и т. д. (стал бы обрабатывать землю при помощи большего капитала) и тогда получил бы больше хлеба, вместо 50 четвертей (на земле 1 сорта) 60, а вместо 30 (на земле 5 сорта) 36; и если б, с увеличением количества хлеба, цена его понизилась от 4 руб. до 3 руб. 50 коп., то он все остался бы еще с большим прежнего барышом (50 четв. по 4 руб. дадут 200 руб., а 60 по 3 руб. 50 коп., 210 руб., из которых за вычетом 80 руб.

ренты осталось бы у него 130 руб. вместо прошлогодних 120 руб.; так точно 30 четв. по 4 руб. дадут 120 руб., а 36 по 3р. 50 коп. 126 руб.) и мог бы продолжать итти путем увеличения своего производства, понижения цен и т. д. А это еще самая ничтожная из причин, по которым понижение ренты имело бы влияние на понижение цен, и мы говорили о ней потому только, что доказать ее проще, нежели другие.

Итак, теория Рикардо совершенно основательна, но не совершенно полна; она объясняет только причину различия в ренте различных земель, не принимая, что и самая плохая из обрабатываемых земель приносит ренту, и не объясняя этого; он выводит ренту ниже действительной величины ее, потому что берет ренту только при достаточности, а не при недостаточности производства.

Но многим теория Рикардо не нравится; почему, это не наше дело, хотя из их возражений видно, почему именно неприятна она им. И эти возражения — превосходный образчик толков о политической экономии мнимо-ученых, постигших различие между наукою, ищущею истины, и искусством «мешать приятное с полезным» для поправления нарушаемой наукою доброй славы милых и полезных нам людей. Все эти возражения — или придирки к словам, или нападения на справедливые, но неудобоваримые стороны теории. Просмотрим их по изложению г. Львова.

Рикардо, по их мнению, этих господ (Bastiat, Carey и т. д.), ошибается, говоря, что возделывание начинается с лучших земель, а потом, по мере надобности, народ переходит к возделыванию низших сортов земель. Видите ли, бедная Аттика обрабатывается прежде плодородной Беотии (откуда это известно?), сухая почва Верхнего Египта — прежде плодородной Дельты и т. д. и Московская или Тверская губерния — прежде Симбирской и Саратовской. — Да никто и не думает утверждать, что люди поселились первоначально именно в наиболее плодороднейших странах земного шара (хотя вообще это справедливо: южная Европа заселена и возделана раньше северной; Малая Азия, долины Тигра и Эвфрата и Нила — раньше южной Европы), до этого и дела нет: цены на хлеб в Тверской губернии очень мало зависят от цен хлеба в Бессарабии, цены хлеба в Германии — от цен хлеба в Сицилии или Малой Азии; Рикардо говорит об округах земли, составляющих одно экономическое целое, которые народ возделывает, не зная, что за тысячу верст есть округа более плодородные или не имея возможности переселиться туда; он говорит о ходе цен и ренты в каждом отдельном округе, в которых цены на хлеб одни и те же; а такие округа и теперь еще невелики, а прежде, при худшем положении путей сообщения, при меньшем развитии торговли, они были еще меньше. Так, у нас в каждом уезде свои цены на хлеб; так, из земель французских, в Эльзасе свои цены, в Нормандии — свои, в Берри — свои и т. д. Только с этими

округами и имеет дело теория Рикардо: что за дело новгородцу что саратовец продает свой хлеб по 20 копеек за четверик? он все-таки будет продавать свой хлеб по 2 рубля; что за дело ему, что в «долине Амазонской реки» лежат плодородные невозделанные земли — он будет обрабатывать свою глинистую землю, стараясь в ней только отыскать по возможности лучшие участки; не ехать же ему, в самом деле, возделывать плодородную «долину реки Амазонки». Превосходно понимают авторитеты г. Львова, в чем дело; Рикардо говорит и должен говорить об округе земель; имеющем одни цены, составляющем одно целое, по недалности расстояний; они толкуют о том, что Москва основана прежде Тамбова! Мы вправе ожидать, что явятся еще глубоко-ученейшие противники Рикардо, которые скажут: «неправда, что плодороднейшая почва возделывается прежде; на Юпитере и Уране богатейший чернозем, а англичане еще не возделывают его»: да имеет ли средства англичанин возделывать плодородную почву Юпитера? Почти столько же средств имеет пекович возделывать малоазиатскую почву.

Далее начинаются толки о том, что плодороднейшая земля иногда бывает недоступна для обработки, потому что ее надобно еще очистить и удобрить и т. д. — Удивительно, как эти господа не скажут опять: «хлеб родился бы лучше всего в центральной Африке, если б навозить туда воронежского чернозема и устроить ломбардское орошение, а люди еще не возделывают этих плодороднейших земель; из этого следует, что люди и не хотят обрабатывать плодороднейших земель».

Нельзя спорить против подобных возражений, потому что они нисколько нейдут к делу. Но из них выводится, что «сначала люди обрабатывают менее плодородные земли, а потом переходят к более плодородным (!!!)»¹⁰, что, конечно, противоречит здравому смыслу и всем фактам, но имеет вид глубокомыслия. А из этого прекрасного начала следует, что рента с течением времени понижается в цене, хлеб тоже и т. д., что, наконец, в наше время землевладелец, отдавая землю внаймы, получает наемную плату не за землю, а за свои труды (которые ограничиваются трудом подписать свое имя на контракте и сосчитать принесенные деньги), и что поэтому, собственно говоря, поземельной ренты и не существует, а существует только доход с земли, как существует доход с домов (NB дом выстроил хозяин дома, а землю... «а землю создал своими трудами ее владетель». См. исследование г. Львова, стр. 121—131)¹¹. А из этого следует, что английский лорд, живущий в Риме или Париже, своими трудами обрабатывает свою землю, а его фермеры — просто дармоеды, которые пожинают плоды его трудов, и даже неизвестно, за что предоставляют себе право отдавать лорду только часть, а не всю целость произведений с земель, которые не приносили бы ни колоса, если бы не было, по счастью, лорда, живущего в Риме. Из этого следует, что

завидна участь пахарей, получающих страшные доходы, и достойна сострадания участь бедного лорда, едва имеющего ныне насущный хлеб.

⟨ИЗ № 10 „СОВРЕМЕННОКА“⟩

История России с древнейших времен. Сочинение Сергея Соловьева. Том четвертый. Москва. 1854.

Четвертый том сочинения г. Соловьева состоит из трех глав. Первые две рассказывают княжения Василия Дмитриевича и Василия Васильевича Темного. В третьей, важнейшей по содержанию и самой большой по объему (она занимает две трети тома), описывается «внутреннее состояние русского общества от кончины князя Мстислава Мстиславича Торопецкого до кончины великого князя Василия Васильевича Темного (1228—1462)». Намереваясь при первой возможности поместить в «Современнике» подробный разбор важного труда нашего достойного историка, мы здесь ограничимся обзором содержания интереснейших отделов последней главы вновь вышедшего тома, именно отделов, излагающих очерк нравов и образа жизни русского народа в XIII—XV веках. Материалы, доставляемые историку летописями, грамотами и другими произведениями тогдашней письменности для восстановления картины внутреннего быта наших предков в этом периоде, чрезвычайно скудны. Летописи сухи и заключают мало подробностей; грамот осталось нам от этого времени мало; других памятников — еще меньше. Потому и картина быта по необходимости должна быть неполна и бледна; но тем интереснее те немногие черты нравов и образа жизни, которые можно уловить в скудных источниках.

Важнейшими мастерствами были, как видим из рассказа летописи об основании города Холма, оружейное, кузнечное и медное, отчасти мастерство серебряных дел. О существовании других мастеровых, кроме плотников, каменщиков и живописцев, нет никаких известий. Потому г. Соловьев думает, что остальные ремесла, например, сапожное, портняжное, отправлялись домашнею прислугою. Об удобствах жизни также не имеем никаких известий, и должно предполагать, что их существовало очень мало. Богатый волынский князь Владимир Василькович во время продолжительной своей болезни лежал на соломе. Из подробных описей имущества московских князей, находящихся в их завещаниях, видим, что ценных вещей у них было очень мало. Так, например, Иоанн Калита оставил после себя двенадцать цепей золотых, восемь поясов золотых, шесть золотых чаш и два золотые кубка, золотую корбочку, три козуха, вышитые жемчугом, и три или четыре других плащев, также вышитых жемчугом. Еще гораздо менее подобных вещей показано в завещаниях Дмитрия Донского, Василия Дмитриевича и Василия Темного. Это уменьшение бо-